



В. И. ШЕНРОК

Памяти Н. Ф. Федорова и А. Е. Викторова

В половине декабря минувшего года в одной из московских больниц кротко и тихо угас один из редких идеалистов, благороднейшая душа, один из людей «не от мира сего», Николай Федорович Федоров. Покойный долго занимал скромную должность в московском Румянцевском музее, а в последние годы в архиве Министерства иностранных дел. В ближайшие дни после его кончины, вероятно, не один москвич был изумлен, встречая в разных газетах его некрологи и воспоминания о нем, дружно его прославлявшие. Казалось, вдруг было сделано открытие, найден был перл высокой ценности. Загадка была, однако, достаточно разъяснена в единодушных и безусловно согласных отзывах о почившем. Такие неожиданные открытия иногда бывают. Так «святой доктор» Федор Петрович Гааз, заслуживавший самого глубочайшего преклонения, был уже почти забыт, как прекрасная статья А. Ф. Кони в «Вестнике Европы» напомнила о нем и заставила всех читателей живо почувствовать душевную красоту¹. Не сравнивая покойного Федорова с Гаазом, замечу только, что это был человек гаазовского типа, подвижник неутомимого добросовестного труда и бескорыстного, самоотверженного общественного служения. Он занимал самое скромное общественное положение, жил аскетом и из своих скудных средств уделял крохи служителям музея, выписывал для музея книги, почему-нибудь казавшиеся ему необходимыми, — разумеется, на свои гроши он делал это лишь изредка, но делал. Лучше всех его изобразила в газетной заметке в «Русских ведомостях» Екатерина Степановна Некрасова², отметившая и его высокие нравственные качества, и его образцовую, беспримерную преданность делу, которому он служил. Но может показаться непонятным, каким же чудом такой достойный человек всю жизнь оставался безвестным за тесными пределами своей служебной деятельности. Но это объясняется просто обычным преклонением перед положением, рекламой и внешним успехом. А Николай Федорович ни о чем подобном не думал и не хлопотал и уклонялся от

всякого чествования и от всего показного. Помню, лет десять назад один молодой ученый В., живший тогда в Москве, составил прекрасный адрес Николаю Федоровичу, под которым немедленно явилось множество подписей³. Николай Федорович был тронут и благодарил, но скромно уклонился от оваций и приветственной церемонии, и эффект обычной в подобных случаях обстановки был потерян. Больше ему адреса не подносили. Вообще он избегал декоративного почета, и, может быть, ему приятнее было слышать несколько простых слов искренней благодарности, а такие слова слышал он часто. Этого человека и его умную беседу, в которой всегда было много живой, самостоятельной мысли, высоко ценили замечательные умы: Ф. М. Достоевский⁴, философ В. С. Соловьев и современный корифей литературы Л. Н. Толстой. Николай Федорович всегда и со всеми был одинаков и в высшей степени скромн, но стоек и неуступчив в убеждениях. Он представлял собой замечательно определенную и установившуюся личность. Любопытно, что посетители музея, зная его по имени и отчеству, в большинстве случаев долго, очень долго не знали его фамилии. И удачно, хотя и оригинально, в «Московских ведомостях» его некролог был так озаглавлен: «Памяти Николая Федоровича» (без фамилии)⁵, и начинается трогательно простыми словами: «Не стало больше Николая Федоровича!» И все, все, кто его знал, мало сказать — уважали, но благоговели перед ним и не обращали внимания на его засаленный сюртук, продранные локти и иногда зимой валеные сапоги, и вообще производимое им, особенно на свежих людей, совершенно непрезентабельное впечатление. Екатерина Степановна Некрасова в своем прекрасном, прочувствованном некрологе Н. Ф. Федорова в «Русских ведомостях» чистосердечно признается, что до сих пор краснеет при воспоминании, как, приняв его по костюму за музейского служителя, будучи ему благодарна за какое-то мелкое библиографическое одолжение, на которые он был всегда так щедр, выслала ему двугривенный⁶.

Милый, незабвенный Николай Федорович! Кто из частых посетителей Румянцевского музея в семидесятых и особенно восьмидесятых и девяностых годах не вспоминает о нем с задумчивым чувством и искренней благодарностью? И в ком при известии о его смерти не шевельнулось чувство глубокой грусти? Все, кто сколько-нибудь серьезно работал в музее, всегда пользовались у Николая Федоровича радушным, приветливым приемом, и всем он охотно помогал своей огромной библиографической опытностью и выработанной постоянным упражнением библиографической сметкой. Все такие посетители бывали как будто гостями Николая Федоровича, в отношении к которым он был неизменно добрым хозяином. Постоянно бывало встречаешь в каталожной знакомые лица, точно это была одна большая семья. В разных углах ката-

ложной и за столом, стоявшим в середине, в стороне от книжных шкапов, сидели обыкновенно «завсегдатаи», и все чувствовали себя, как дома, в кабинете, приятно и свободно. Часто принесет служитель целую охапку книг, так что иной раз и класть некуда. Где же успеть все пересмотреть до трех часов? Книги оставляются там, где они были положены, и никто их не переложит, разве оботрут с них пыль, и никогда книги не заваливались и не приходилось долго искать их, потому что Николай Федорович почти жил в каталожной и, вероятно, на досуге пересматривал все, что было на столах, иначе трудно себе объяснить неизменную сохранность всего. Николай Федорович всей душой уходил в свое дело и, казалось, как будто никогда и не выходил из каталожной. Если придешь слишком рано, он уж на своем месте, что-нибудь ищет или читает или приводит книги в порядок, роется в каталожных карточках. Но не надо думать, чтобы он копался над механической работой; он не сидит праздно, мысль его неустанно работает. Если случайно попадешь в музей в праздничный день и спросишь у швейцара, здесь ли Николай Федорович, почти всегда получаешь ответ: «Кого другого нет, а уж Николай Федорович всегда здесь, он уже давно пришел!» В самом деле, шаги глухо раздаются по коридорам, все пусто, попадают одни сторожа или печники, а в каталожной уже Николай Федорович с каким-нибудь из его обычных гостей — и заняты делом, или он сидит один и, заинтересованный каким-нибудь вопросом, в свободные минуты что-нибудь читает, наводит справки. Другой просидит на его должности много лет и будет только отыскивать и доставать требуемые книги, а он, стоя у каталожного дела, всем интересовался, и живая мысль его постоянно требовала обмена мыслей, что делало его крайне общительным и близким ко всем частым посетителям музея и создавало ему поклонников; я знаю многих, которые, увлекаясь Николаем Федоровичем, этим, несомненно, очень умным и мыслящим человеком, готовы были с горячностью утверждать даже, что он был гений; многих трогало его безграничное благоговение перед наукой, но здесь он доходил до невероятных крайностей, отстаивая, например, совершенно невозможные мысли, будто наука будет, вечно развиваясь, все увеличивать счастье человечества, и договаривался наконец до того, что, благодаря науке, настанет пора, когда смерти не будет и даже все прежде умершие воскреснут. Мне жаль, если слова эти вызовут улыбку, что, конечно, очень возможно, но люди, знавшие Николая Федоровича, настолько уважали и любили его, что в этом парадоксе видели только крайнее, но искреннее увлечение, что и было справедливо.

Где и когда найдешь такого энтузиаста и такого самоотверженного человека, всецело жившего для других? Сидишь иногда в каталожной — хорошо и уютно у Николая Федоровича. Быстро ле-

тят часы — и вот бьет звонок, возвещающий о прекращении занятий, пора уходить, но это надо скрыть от Николая Федоровича, иначе он будет останавливать и уверять, что он все равно раньше пяти часов не уйдет из музея (официально в музее по утрам можно заниматься до трех часов), что еще рано и что у него есть свое дело. А иногда выходило неловко: другого спешного и неотложного дела бездна, и еще предстоит большое передвижение по Москве, и непременно надо уходить, но Николай Федорович баловства не любит и тотчас тоном грустного укора скажет: «Вы уж бежать собрались? А я вот еще посижу, хочу такую-то книгу посмотреть!» Иногда, благодаря ему же, успеешь сделать все нужные справки, и в данное время остаться еще в музее значит уже терять время, которого так немного, а Николай Федорович заинтересуется справкой и без конца продолжает еще что-нибудь отыскивать, и не знаешь, как вырваться. Пришлют ему записи из читального зала с требованиями книг, а он, не ограничиваясь требованиями, сообщает, что еще есть по данному вопросу, и, отыскав, посылает в виде сюрприза еще несколько относящихся к вопросу книг. Помню, однажды (кажется, в 1887 г.) Н. А. Белозерская, приступая к своей известной работе о Нарезном⁷, попросила меня справиться, не осталось ли каких-нибудь касающихся его документов в архиве Московского университета, и прибавила еще несколько вопросов, но ответы на все были получены только отрицательные. Прихожу к Николаю Федоровичу, он на целые дни ушел в поиски за Нарезным и в результате указал столько источников, что Надежда Александровна Белозерская была приятно изумлена и благодарила (у меня сохраняется ее письмо, написанное по этому поводу). И только раз было полное разочарование: академик Михаил Иванович Сухомлинов разыскивал какой-то листок, editio princeps одной из од Ломоносова⁸. Но тут уж и Николай Федорович не помог, так как это уж было нечто вроде желанья птичьего молока. И с полной готовностью он рылся и отыскивал для всех книги и источники и радовался, когда удавалось удовлетворить, но зато недолюбливал, когда кто-либо из его обычных посетителей долго не заглядывал в каталожную. Один давно умерший профессор мне сознавался, что ему неловко было показаться в Румянцевский музей: совестно перед Федоровым! Но Николай Федорович бывал резок, если кто-нибудь нечаянно затрогивал горячее патриотическое чувство или говорил какое-нибудь легкомысленное слово о науке; тут он был фанатиком. Я слышал, что за неуважительный отзыв о России он буквально выгнал из каталожной одного даровитого молодого ученого. Характера он был независимого и, относя пренебрежительно к материальным благам, совершенно игнорировал сильных мира. Когда один из прежних директоров музея⁹, никогда не заглядывавший в него, случайно проходил по

коридору около каталожной, Николай Федорович громко, взволнованным голосом сказал: «Нет, уж если ты получаешь синекуру, так уж ты и не ходи, не показывайся!» Особенно же он терпеть не мог людей, чья проповедь расходилась с словом, например, по вопросу воздержания и отречения от благ мира, и в глаза называл их притворщиками и лицемерами, на что имел полное право, живя, как францисканский или бенедиктинский монах. Однажды один директор музея, как рассказывает Е. С. Некрасова, высоко уважая Федорова и желая его извлечь из когтей нищеты, предложил ему другое место с лучшим содержанием. К великому его изумлению, Николай Федорович отказался. «А если бы вам предложили мое место?» — спросил директор. «И от него отказался бы!» — отвечал Федоров. Директор этот был, наверное, светлой памяти Михаил Алексеевич Веневитинов¹⁰. Доброжелательный ко всем, будучи аристократом по рождению и привычкам, изящный и элегантный, он не мог видеть уважаемого человека почти в жалком рубище, но на этот раз этот высокой души человек не понял своего дорогого сослуживца и с сожалением и в крайнем недоумении должен был оставить его в покое... Расскажу еще один случай. Однажды случилось, что в каталожной все места были заняты (чего почти никогда не бывало) и вошел один сиятельный посетитель, занимавшийся наукой. Недовольный тем, что не мог найти себе место, посетитель обратился к Николаю Федоровичу с претензией, напоминая, что в каталожной, по правилам музея, не должно быть посторонних посетителей. «Если, ваше сиятельство, вы протестуете против нарушения правил, то прошу вас первого показать пример и уходить из каталожной», — сказал Николай Федорович.

Говоря о Николае Федоровиче Федорове, грешно было бы не вспомнить и о его друге, о такой же замечательной личности, как он, об Алексее Егоровиче Викторове, хранителе рукописей в рукописном отделении музея в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов. <...> Викторов служил музею, как и Федоров, поистине «не за страх, а за совесть», и на скудное свое жалованье в свободные летние месяцы часто предпринимал поездки по архивам, библиотекам и монастырям с целью раздобыть недостающие в рукописном отделении Румянцевского музея редкости. <...> Викторов был такой же скромный и не блиставший внешностью человек, как и друг его Федоров, хотя и без крайностей последнего; когда его, одинокого и случайно заехавшего в Пятигорск приезжего, хоронили¹¹, то прислуга была удивлена, увидав его ордена и узнав, что он имел довольно высокий чин. Беседу Викторова очень ценили такие тузы науки, как покойные Буслаев и Тихонравов¹².

И такие люди были украшением Румянцевского музея недавно, на нашей памяти, а еще следует хотя вскользь упомянуть о гу-

манном, высокообразованном директоре музея Михаиле Алексеевиче Веневитинове, о Николае Ильиче Стороженке, о Дмитрие Петровиче Лебедеве¹³. И когда вспомнишь счастливое прошлое время, когда случайно в этом музее сгруппировалось несколько поистине замечательных и редких личностей, как-то становится грустно, что тогда казалось самым простым и обыкновенным, самым естественным делом, что в рукописном отделении во всякое время можешь встретить Алексея Егоровича Викторова и пользоваться его указаниями, или Дмитрия Петровича Лебедева, а в каталожной милейшего Николая Федоровича. Этих людей все уважали и ценили, но как-то не приходила тогда мысль, что таких людей больше никогда и нигде не встретишь. Впрочем, то же можно сказать и о многих славных деятелях в других сферах. Вот пример. Недавно минуло десятилетие (в ноябре 1903 г.) со дня кончины Николая Саввича Тихонравова, которым во время его профессуры и ректорства гордился весь Московский университет, который был истинным и драгоценным украшением многих ученых обществ Москвы, который был известен как человек глубокой эрудиции и сильного, замечательного ума, и приятно было тогда всем так или иначе прикосновенным к университету или ученым обществам сознавать, что среди них или во главе их находится такой туз, такая крупная величина, человек такого высокого авторитета! И все это миновало и умчалось, и куда ты ушло, славное, дорогое время? И не думалось тогда, что все пройдет быстро, и останутся потом одни постепенно изглаживающиеся грустные и дорогие воспоминания.

